

Г.А. Семенихин

Жили два друга

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г11

Г11 **Г.А. Семенихин**
Жили два друга / Г.А. Семенихин – М.: Книга по Требованию, 2014. – 222 с.

ISBN 978-5-458-03304-6

Я, капитан запаса Николай Демин, бывший командир авиационного звена, совершивший на штурмовике ИЛ-2 в годы Великой Отечественной войны семьдесят три самолето-вылета на уничтожение живой силы и боевой техники противника, дравшийся с «мессершmittами» и дважды горевший, торжественно заявляю, что этот выстрел единственно правильное наказание за совершенный мною проступок. Я покидаю светлый мир людей, с которыми бок о бок дрался за родную землю, делил радости и трудности послевоенных лет, потому что недостоин в нем находиться. Приговор окончательный, и нет в мире силы, способной его отменить...

ISBN 978-5-458-03304-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2014
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2014
© Г.А. Семенихин, 2014

Геннадий Александрович
Семенихин
Жили два друга

Пролог, который можно считать эпилогом

«Я, капитан запаса Николай Демин, бывший командир авиационного звена, совершивший на штурмовике ИЛ-2 в годы Великой Отечественной войны семьдесят три самолето-вылета на уничтожение живой силы и боевой техники противника, дравшийся с «мессершмиттами» и дважды горевший, торжественно заявляю, что этот выстрел единственно правильное наказание за совершенный мною проступок. Я покидаю светлый мир людей, с которыми бок о бок дрался за родную землю, делил радости и трудности послевоенных лет, потому что недостоин в нем находиться. Приговор окончательный, и нет в мире силы, способной его отменить».

Ранним утром в старинном пятиэтажном доме в центре большого города раздался выстрел. Тело крупного седеющего человека безвольно сползло с зеленого кресла, бесшумно опустилось на давно не вощенный паркет.

Острый пороховой дымок, тонкий и бледный, как след от затухающей папиросы, еще курился над письменным столом, когда всхлипнул, забился простенький и неновый будильник. Но человек уже не слышал его звона и не видел, что стрелки показывают семь. Человек лежал на полу, неестественно подвернув под себя левую руку, а ладонью правой, выпустившей пистолет, закрывал лицо, будто хотел защититься от чего-то страшного и неминуемого.

Стрелки показывали семь. Сквозь зашторенные окна пробирался в комнату запоздалый мутный рассвет.

Над огромным городом, закованным в гранит и бетон, над его серыми площадями и улицами, над парапетами холодной реки и заводскими трубами, исторгающими в низкое промозглое небо дым, вставал день. Люди уже бодрствовали, и выстрел в старом пятиэтажном доме был ими услышан. Кто-то уже повелительно стучал в резную дубовую дверь, так, что вздрагивала табличка с фамилией «Н. Демин». Черные буквы с этой таблички рвались в глаза траурными линиями. Всклокоченный пенсионер-учитель, проживающий этажом ниже, кому-то убедительно доказывал:

— Это же не у нас, позвольте вам доложить... это на пятом, у Демина.

Замок взломали, и несколько человек протиснулись в комнату, служившую и кабинетом и спальней.

А рассвет уже осмелел. Он выбелил все четыре стены, заскользил по книжным стеллажам, отразился в стеклах шлемофона, висевшего над коричневым диваном, мимоходом, совсем небрежно, заглянул в пепельницу с горкой сплющеных окурков и только потом, когда были раздвинуты плотные шторы, осветил лицо лежащего на полу человека. Склейенные кровью седые волосы его были помяты, глаза неплотно закрыты. На лице застыло выражение успокоенности. Лишь в глубоких морщинах и в складках рта, упрямо сокнутого, выпрямленного в решительную линию, — что-то скорбное, словно и за секунду до смерти не мог человек преодолеть ощущение обиды и горя.

— Батюшки! — причитала дворничиха, толстая женщина неопределенного возраста. — Да зачем же ты на себя поднял руку? И какой сатана толкнул тебя на это?

А уж какая была семья. Жена-то его покойная какая ласковая да добрая была!

Да и сам он, Николай Прокофьевич, царствие ему небесное, золотой был человек. – Дворничиха мелко закрестилась и рукавом не то смахнула слезинку с обрюзгшего лица, не то только вид сделала, что смахивает. – Уж до чего тихий да обходительный был! Мухи не обидят. Даже не верилось, что летчиком был...

– Да. Здорово он в себя дербалызнул, – сказал простуженным голосом незнакомый жильцам этого подъезда человек. – А ну-ка разойдитесь, граждане! Ни к трупу, ни к вещам в этой комнате не прикасаться. Доктор, пожалуйста, произведите освидетельствование.

Плечистый лысый мужчина в шуршащем плаще осмотрел труп.

– Констатирую смерть от огнестрельного ранения в область черепа, – флегматично заметил он. – Рука у покойника была довольно твердой. Ох уж эти мне сочинители, всегда что-нибудь отчуябут!

– Неправда! – вскричал в эту минуту участковый милиционер, протиснувшийся в комнату и сразу оказавшийся на переднем плане. – Да как же так можно!

Это не какой-нибудь сочинитель! Это большой художник, талант! Его книга «Ветер от винта» всей стране известна! На двадцать пять языков переведена, а вы – сочинитель!

Об участковых распространено мнение, будто эта низшая категория милицейских работников, влюбленная в такие обороты речи, как знаменитое: «граждане, давайте не будем», «прошу соблюдать порядочек», «предъявите документики». Лейтенант Кислицын, работавший участковым по тому переулку, где проживал Демин, к этой категории выдуманных или не всегда выдуманных лиц (потому что служили, чего греха таить, в милиции и такие) явно не принадлежал. У него было острое птичье лицо с узкими скошенными глазами, шрам за ухом – когда-то пропела рядом бандитская пуля. Сутуловатый и по-мальчишески невнушительный, с белыми ресницами, прикрывающими глаза, он обладал не для всех приятной особенностью говорить правду-матку любому вышестоящему лицу и намертво отстаивать свою точку зрения.

Чем выше было лицо, тем более жестким и бескомпромиссным становился Кислицын. Недружелюбно поглядев на доктора, закончившего осмотр тела, участковый еще раз повторил тонким голоском:

– Не сочинитель он, а большой писатель! Такого уважать надо. Да-с! И оттого, что он прибавил к своей немногословной речи это старомодное «да-с», врач растерянно отступил.

– Да ведь я ничего. Просто к слову пришлось. А вообще, может быть, вы, коллега, и правы. Если талант, так и пусть остается талантом. Это уже за рамками медицинского вмешательства.

Врач растерянно отступил, а участковый ужетише прибавил:

– Он еще и летчиком был что надо.

А тем временем человек, приказывавший не прикасаться к трупу и окружающим его предметам, продолжал сосредоточенно осматривать комнату: заглянул за портьеры и диван, щелкнул пальцами по медно-желтому маленькому фрегату, стоявшему на телевизоре, прочел дарственную надпись на фотографии одного из космонавтов: «Коле Демину. Пиши о летчиках всегда так!» Потом цепкий, профессионально натренированный взгляд с деловитой неспешностью прошелся по столу. Стол был широкий, массивный, с резными ножками. На гладком зеленом сукне стояли пластмассовые модели самолетов.

Это были взлетающие истребители и бомбардировщики с острыми короткими крыльями, под большим углом отведенными назад. И на каждой подставке серебряная плашка с выгравированной надписью: «Писателю Демину от его читателей-авиаторов», «Николаю Демину от его новых однополчан», «Демину от ветеранов-гвардейцев».

На столе, кроме заклеенного конверта, белел надорванный листок. Крупным указательным пальцем следователь прижал его к мягкому сукну. Бросились в глаза чуть косовые, старательно и твердо выведенны строки:

Седой угрюмый человек
По жизни прекратил свой бег,
Упал он, словно лошадь
Под непосильной ношей.
А доктор, тот, что из светил,
Над ним склонившись, говорил:
Мол, что он ел и что он пил,
И был ли он хороший.
Оставь рецепты, эскулап,
Они не вяжутся никак
Ни с утренней зарею,
Ни с миром, что мы строим,
Пусть мы не из гранита,
Но мы шагаем в битвы.
И в этих самых битвах
Порой бываем биты.

Человек убрал указательный палец с листка. Он не был знатоком поэзии, но был хорошим следователем.

И, оторвав взгляд от письменного стола, он с сочувствием поглядел на покойника: «Какую же ты нес на себе ношу, Демин, если даже тебе, бывшему фронтовику, она оказалась непосильной?»

Часть первая

Глава первая

Светловолосый паренек в синем летнем комбинезоне и запыленных сапогах лежал под нагретой от солнца плоскостью штурмовика и смотрел в ослепительное голубое небо, по которому медленно-медленно передвигались редкие, розовые от солнца облака – на высоте был ветер, не улавливавшийся на земле. Паренек взглядывался в небо, будто там, в голубизне, хотел найти ответ на какие-то свои, мучившие его мысли. В глазах – пытливая строгость и еле сдерживаемое удивление. Гудели пылившие по аэродромным дорогам бензовозы и маслозаправщики, рядом вполголоса вели разговор механики и мотористы, доносился сдержаный смех недавно зачисленной в экипаж оружейницы ефрейтора Заремы Магомедовой, худенькой осетинки с густыми бровями, сомкнутыми над переносьем, с черными, немного удивленными глазами, с косой ниже пояса. Парень лежал и был настолько поглощен своими мыслями, что ничего вокруг не слышал.

Вглядываясь в ослепительную голубизну неба он думал – что, если со всеми подробностями заснять на кинопленку его, Николая Демина, жизнь? «Пускай не всю жизнь, а самое значительное из нее, – поправлял он себя и тут же задавался вопросом: – Ну а что именно выделить из моей жизни как самое интересное? Глаза паренька становились задумчивыми, в них меркла строгость. Тонкие губы, скимавшие сорванную травинку, начинали добродушно вздрагивать; травинка падала за воротник комбинезона, а паренек, улыбаясь, продолжал фантазировать: – Нет, это было бы здорово, и вот как бы я начал такой фильм. Прежде всего показал бы крутой берег речки Вазузы, а над ним черные избы нашего села. Нет, не черные, а белые, потому что действие происходит зимой. Речка подо льдом, на крышах шапки снега. Я с Петькой Жуковым возвращаюсь из школы.

В лицо ветер, метелица. А дома – мама. Она кочергой вытаскивает из печки ржаной каравай с поджаристой коркой, а сестренка Верка сидит под старенькой, еще пррабабушкиной, иконкой на лавке и глотает слюнки. Потом мама режет хлеб и разливает по тарелкам дымящиеся наваристые щи. Я пытаюсь щелкнуть Верку расписной деревянной ложкой по лбу, но мама сурово останавливает: «Погодь-ка, Прохиндей Иваныч. Дратъся ты мастак, а вот что в тетрадках принес?»

Я торжественно достаю из сумки тетради, а в них почти в каждой красными чернилами красуются «отлично, отлично, отлично». И мама уже не притворно-ворчливым, а самым добрым голосом восклицает: «Ай да молодец Никола! Истинное слово, молодец! Смотри, Верка, в школу на тот год пойдешь, чтобы, как сынка, училась».

Потом мы ложимся спать, а мама убавляет в лампе огонь и, сидя за еще не убранным столом, подперев осунувшееся лицо руками, опять думает. Мы с Веркой точно знаем: думает она об отце. Она всегда о нем думает, когда мы ложимся спать, а большая горница погружается в полумрак, и только слышно, как за окнами повизгивает ветер да изредка потрескивает наст под ногами запоздалого путника.

Мы с Веркой никогда не видели своего отца и ничего о нем не знаем: где он

и кто он. Только однажды летом, когда я бегал на ток помогать матери, я услыхал, как гренадерского телосложения тетка Маланья в сердцах сказала:

– Бедная Варюха! Своими бы руками этого ублудка задушила. При живом-то отце двое сирот. Это на что же похоже!

А еще позднее стал часто наведываться в нашу избу дядя Тихон, добрый вдовий мужик, бывший конярмеец, еще мальчишкой топтавший о буденновской армией донские и воронежские ковыльные степи. Он приносил нам замечательные, пестро раскрашенные глиняные игрушки. То улыбчивую матрешку, то злую, уродливую бабу-ягу со скорченной физиономией, то тачанку с пулеметчиками, совсем такую, как у буденновцев. Мы с Веркой бросались ему навстречу, едва только дядя Тихон перешагивал порог горницы и, нерешительно остановившись, снимал с головы выцветший от дождей и солнца городской картуз с модным длинным козырьком. С картузом дядя Тихон никогда не расставался.

– Можно, Варя? – спрашивал он у матери и опускал голубые стеснительные глаза, будто ждал от нее слова о чем-то очень и очень важном, на что матери решиться было трудно.

– Можно, можно, – не дожидаясь материнского согласия, галдели мы.

– Вы думаете, я что? – повеселившим голосом говорил дядя Тихон. – С пустыми руками пришел? А ну налетай – кто на левый, кто на правый карман, выхватывай петушков и чижиков. Они сегодня со свистом.

…Как-то в грозовую ночь, когда молнии резали небо и даже кот с мяуканьем скребся со двора в дверь. Николка проснулся и увидел в горнице две освещенные молнией фигуры: дядю Тихона и мать. Они сидели на разных табуретках и вели какую-то, видно, длинную беседу. Мать говорила сухим ровным голосом, а дядя Тихон горячился, отчего голос его вздрагивал и перескакивал с низких нот на высокие.

– Нельзя так, Варюха, – убеждал дядя Тихон, – пора бы уж этого вертопраха навек позабыть.

– Он им отец, Тихон, – громким шепотом возражала мать.

– Да какой же он им отец, если они в глаза его не видели! Да и муж тебе какой?! Ты первая баба на селе, ударница лучшая. А он – кто? Кто, я тебя спрашиваю?

Кулацкий племянник, жалкий гармонист в клубе – два прихлопа, три притопа! Да и знать ведь тебя не хочет.

Эх, Варюха! Дорого ты поплатилась за эти черные брови.

– Не я одна, – горько вздохнула мать.

– Вот и пора бы об этом позабыть, – настаивал дядя Тихон. – Надо все съзнова начать. Я же к тебе по-серъезному, не на баловство какое-нибудь зову. Или мне не веришь?

– Верю, Тиша, – сказала мать и поперхнулась каким-то незнакомым Николке сдавленным грудным смешком. – Ты же весь добрый и светлый. Совсем как большой ребенок. Только прости меня на неласковом слове: не хочу я второй раз судьбу свою испытывать, не хочу.

– Это ты твердо? – глухо переспросил Тихон.

– Твердо, – решительно подтвердила мать. – И не надо больше меня пытать.

– Ну тогда прощевай. – Дядя Тихон поднялся с тяжелым вздохом и, натыкаясь на табуретки, шагнул в сени. Звякнуло опрокинутое ведро, лязгнула на двери щеколда. А мать, оставшись одна, вдруг горько и как-то безысходно заплакала.

Николке захотелось ее утешить, и он стал было спускать с кровати босые ноги, но вдруг подумал, что нельзя ему сейчас вмешиваться в этот не во всем понятный ему разговор, и удержался от первого порыва.

... Жаворонок с треныканьем взмыл над аэродромом и, набрав высоту, снова ринулся к земле. Парень в летном комбинезоне, приподнявшись на локтях, проводил его глазами... Вздохнул: «Все-таки любопытно, подошло бы такое начало для фильма про мою жизнь? А может, показалось бы скучным, неинтересным. – Он рассмеялся. – А я бы тогда другое предложил. Детство в сторону, сразу быка за рога. И заголовок соответствующий.

Например, «Личная жизнь Николая Демина». А начать хотя бы с того, как я стал летчиком. Все-таки забавная была процедура».

Он тогда закончил восьмилетку и по настоянию матери, стремившейся удержать сына возле родного очага, решил поступить в сельхозтехникум. Все было уже отмерено и взвешено, но вдруг полетело в тартарары. Тот же самый Николкин однокашник по восьмилетке Петья Жуков остановил его как-то у калитки и таинственными знаками отозвал в сторону.

– Куда надумал? – спросил он без обиняков.

– В Вязьму, – гордо ответил Николка. – Говорят, там сельскохозяйственный техникум самый лучший.

Петья Жуков скроил презрительную гримасу.

– Дура! Плюнь ты на это! Я тебе такое сейчас скажу! – Он наклонился к его уху и таинственно зашептал: – Я вот завтра в райцентре еду. Там в райкоме комсомола командир какой-то, не то майор, не то подполковник, из летной школы прибыл. Будет в училище парней отбирать. Айда вместе. Я тебе по секрету скажу, что всю весну к этому готовился. И мускулатуру смотри какую отрастил, и стометровку не хуже твоего Серафима Знаменского бегаю! У летчиков, знаешь, зарплата – во! А форма такая, что девки сплошняком будут замерть при одном виде падать.

– На ком же тогда женишься, если все так уж и замерть? – уколол его Демин.

– Дура! – вскипел Жуков. – Те, что не попадают, самые стойкие, – твои и будут!

– Небось все ты врешь, – недоверчиво протянул Демин, но друг его подбоченился и повернулся спиной.

– Креститься не буду. Как-никак член ВЛКСМ. Не хочешь – не верь. Небось от мамкиного подола боишься оторваться. Тогда я пошел.

– Подожди, подожди, – забеспокоился Николай. – Значит, говоришь, в летчики будут отбирать?

– Нет, на молочнотоварную ферму, – огрызнулся Петья без особой злобы. – В доярки. Там тетя Луша и бабка Авдотья уходят на пенсию, так ты на их место. Тебе в самый раз.

– Постой, – остановил его Демин. – Так ведь летчики – люди особенные. Их в небо еще с детства тянуло, сам в одной статье прочитал. Разве нас, лаптежников, примут!

– Ну и оставайся бычатам хвосты крутить, – рассердился Петья и не очень скорым шагом пошел от него. – А я лично в зоотехники не собираюсь. Бонжур!

Но Демин его нагнал и сказал заискивающе:

– Петь, а Петь, а может, и мне попробовать? Только что я мамане скажу?

Убиваться же будет.

– Дура! – добрея протянул Жуков. – Скажи ей, что отправился на поиски этого самого сельхозтехникума, где она тебя студентом видеть желает...

На следующий день они отправились в райцентр на пароконной председательской линейке, посланной за агрономом райзо. Копей гнал дед Ипат, семидесятипятилетний правленческий кучер с широким, зычно улыбающимся ртом, в котором поблескивал единственный золотой зуб. Про него дед Ипат говорил:

– Это мой коренник.

Все село знало, что золотой зуб – гордость Ипата, и не было на селе избы, какую обошла бы история, связанная с его появлением. Ипату пришла пора вставлять зубы, нужны были деньги, и как раз в это время с далекого Тихоокеанского флота прислал ему письмо родной внук, старшина первой статьи. Сообщая не без гордости, что он получил премию за одно изобретение, он спрашивал, какой деду привезти подарок. «Никакого не надо» дорогой внучек, – отписал ему тогда дед Ипат, – пришли только денег для золота на зуб, иначе вся челюсть полетит к чертям». Внук прислал маленькую желтую фигурку – золотую гейшу. Все село ходило к Ипату дивиться на нее. Мужики цокали языками, глядя, как ловко вылеплены у танцовщицы ноги, плечи, грудь. А потом дед Ипат взбелеился:

– Будем кончать это форменное безобразие!

И вскорости переплавил гейшу на золото, столь необходимое ему для зуба. Потом вся деревня говорила:

– У деда Ипата зуб из балерины...

...Гнедые раскормленные кобылицы резво мчали линейку по зеленеющим колхозным полям. Над посевами носился легкокрылый теплый ветер, и красивым веером золотые колосья разбегались то в одну, то в другую сторону. Всхрапывали озорно кони, кидая пролетку в крутие балочки и вынося из них на косогоры. Сухая пыль поднималась из-под копыт, садилась на лица и одежду тонким седым слоем. Пользуясь глухотой деда Ипата, Петья Жуков простиенно рассуждал, каким он станет летчиком, как будет прилетать к родному селу и крутить над крышами своего и Николкиного дома затейливые страшные бочки.

– И на самой низкой высоте. Как Чкалов! – петушился Жуков. – Чего на меня смотришь такими квадратными глазами? Аль не веришь?

– Да верю, – отмахивался от него Демин. – Чего пристал, как репей!

– То-то, – успокаивался Петья. – Я парень рисковый. Это точно.

В райкоме комсомола ребят сразу пропустили к первому секретарю, угреватому, сутулому Вене Воробьеву.

Выслушав просьбу Петьки Жукова, он озадаченно протянул:

– Так ведь контингент для медкомиссии уже отобран.

– Подумаешь, контингент! – взорвался неистощимый Петья. – В том контингенте настоящих колхозников небось раз-два, и обчелся, а дальше районная интеллигенция и дети совторгслужащих.

В серых глазах Вени Воробьева загорелся огонек.

– А ведь идея! – вскричал он. – Ты сам не знаешь, парень, какую идею подал. Не зря Владимир Ильич говорил, что надо не только массы учить, но и учиться у масс. Ты прав, товарищ. Нам действительно недостает ребят из колхоза, и поэтому вас обоих направляю свою властью к медикам, а потом мандатная комис-

сия разберется.

И они очутились в одноэтажном белокаменном здании районной поликлиники, все кабинеты которой в тот день были заняты врачами из горвоенкомата. Поликлиника была заставлена аппаратами, которых не было раньше в этом мирно дремавшем на солнце здании: и огромный металлический бак, в который надо было дуть из всех сил, и неудобное, стремительно вертящееся кресло, и какие-то особые таблички для проверки зрения. Были врачи малоразговорчивыми и строгими. Жесткими пальцами они ощупывали и простукивали кандидатов в летчики, безжалостно вертели их на противном кресле, после чего у некоторых под ногами шатался пол, заставляли крутиться на турнике, а потом спрыгивать на землю и приседать с закрытыми глазами...

К вечеру усталые и даже чуть осунувшиеся от пережитого Николка и Петя зашли к Вене Воробьеву и доложили, что медкомиссию полностью прошли.

— Вот и хорошо, — одобрил секретарь райкома. — А теперь приходите завтра к двенадцати дня, все и определится.

Ребята озадаченно переглянулись.

— Да как же, — растерянно пробормотал сразу утративший бойкость Петя. — Мы же из Касьяновки.

А здесь ни родных, ни знакомых. И возвратиться к ночи обещали.

Веня Воробьев был добрым парнем и к тому же все понял сразу. Смуглая рука комсомольского вожака несколько раз покрутила телефонный диск.

— Здравствуйте, Павел Артамонович. Хочу доложить, что все мои комсомольцы прошли медкомиссию.

Завтра в двенадцать будут у вас в кабинете. Вот только не знаю, что делать с двумя. Они из Касьяновки, из колхоза «Красный луч». Нельзя ли с ними решить сегодня?

— Гм... Ну ладно, пусть зайдут, — последовал ответ.

Когда вместе с оробевшим и притихшим Петкой Жуковым Николка проник в просторный кабинет, он не без удивления увидел за большим письменным столом их предрайисполкома Павла Артамоновича Долина. Его он много раз видел на колхозных полевых станах и во время сева, и на уборочной, видел и в сельсовете и в школе. Даже домой к ним Долин заходил два раза и о чем-то долго разговаривал с матерью. Но сейчас он показался вдруг Николке очень строгим и неприступным.

Был Павел Артамонович в синей гимнастерке, туго перепоясанной тонким кавказским ремешком с блестящими насечками. На груди, как и всегда, два боевых ордена Красного Знамени. Он ими очень гордился, потому что получил их за работу в ВЧК, когда выполнял задания чуть ли не самого Дзержинского. У Павла Артамоновича широкое спокойное лицо с немногими насмешливыми, но добрыми и вовсе не подозрительными глазами, так что не сразу поверишь, что этот человек выслеживал шпионов, допрашивал деникинских полковников, стрелял в убегавших бандитов. Правая щека изуродована длинным рубцом, слегка скошена челюсть. Это в девятнадцатом отмахнулся от него шашкой один из врангелевских адъютантов, да неудачно, потому что секунду спустя пуля из маузера, вскинутого Долиным, успокоила белогвардейца навек...

Павел Артамонович вышел из-за стола. Хромовые сапоги издали легкий скрип. Чуть прищурившись, он посмотрел на ребят, нерешительно тискавших в